Степан Разин рассказывает солдатам о своей участи после смерти

— Давненько, — а как давненько, признаться, не умею сказать, запамятовал, — довелось мне разговаривать, вот этак, как теперича с вами, довелось, говорю, разговаривать с одним отставным солдатиком, и он рассказывал мне вот какие вещи. Служил он, этот солдатик, на своем веку в матросах и был, на безвестных кораблях. А знаете ли вы, что такое «безвестные» корабли? — спросил слепой слушателей.

Ответ был отрицательный. Каждый из казачат, разумеется, имел общее понятие о корабле, но без всяких прилагательных, а просто как о судне, на котором плавают по водам. Но что такое «безвестный» корабль, — вот это было для каждого из них новостью. Слепой пустился объяснять.

— «Безвестный» корабль значит… — начал было старик, но объяснение его не ладилось: на слове «значит» старик запнулся; за словом этим другого, разумеется, самого главного, не последовало.

Слепой стал в затруднение, чего с ним почти никогда не бывало; рассердился слепой, не зная или не умея в коротких словах объяснить значение «безвестного» корабля, на что вызвался сам. Почмокав тубами или, как говорится, «помузюкав» немного и потерев по лбу кулаком, старик сообразил мысли и сызнова приступил к объяснению.

— «Безвестный» корабль — значит вот какая штука, — сказал слепой. — Теперича, к примеру сказать, проштрафится какой ни на есть из набольших: со всяким грех случается… Сослать такого гуся сиволапчатого в ссылку, примерно туда, где солнца не видать, иль-бо смертию казнить, жалко: сердце-то не камень. Вот и велят до поры до времени посадить его, голубчика, в сибирку. «Посиди-ка там, — скажут доброму молодцу, — так и узнаешь кузькину мать». Приспокоят этого, а там, глядишь, еще какой-нибудь гусь голландский свихнется с пути истинного, позарится, примерно сказать, на царскую казну, да и запустит грабли-то глубоконько, индо не вытащить… Ну, и этого лакомку туда же, в сибирку, чтобы этак, знаете, отбить у него охоту лазить в неположенное место… Наберется таких молодчиков не один, не два, а многонько-таки. Знамо, кормить их даром убыточно. Вот и велят посадить их на корабль, — для этого и корабли

особые имеются, старые, что выслужили срок, — да и выпустить в «киянь-море». «Ступайте-ка, голубчики, на все четыре стороны, — скажут им, — вы нам не нужны». А у киянь-моря и берегов-то нет: киянь-море, знаете, на кит-рыбе стоит. Поплавай-ка по киянь-морю, спокаисся, другу-недругу закажешь сосать невинну кровь… И простых солдат посадят на этот корабль, чтобы было кому работать на нем; без людей, знамо, с лодкой не справишься, не токма что с такой махиной, как корабль… Солдат тоже берут больше из проштрафленных, примерно из острога иль бо из ристанских рот, значит, вместо пропажи. Ну, конешно, не все штрафованных, сажают и хороших, нештрафованных солдат, примерно музуриков, то-ись матросиков, которые по компасу понимают. Там какие ни на есть будь мудреные люди, а уж без компаса соваться в море не моги: заблудисся и в первый же день пропадешь. Этих, бедненьких, то-ись музуриков, по жребию посылают, кому уж такой выпадет. Дадут всему «кипажу», то-ись всем людям на корабле, — они все сообча зовутся «кипажем», так мне матросик сказывал, — дадут всему «кипажу» провизии на год, а раньше пяти годов вертаться домой, не велят. Если найдешь в киянь-море чем питаться, питайся на доброе здоровье; не найдёшь — умирай, а раньше пяти годов все-таки на Русь не вертайся, так уж искони бе узаконено, говорят, Петром Первым, что бороды велел брить! Если вернесся раньше, все едино, что в море пропал: смертию казнят, аль-бо живого в столб закладут, — и на это есть закон. В старые годы таких кораблей в киянь-море много выпускали, и почитай все они пропадали без вести. Разве-разве, что из десяти один, за чьи-нибудь молитвы, вернется, а то все сплошь пропадали: от этого и называются корабли безвестными, что без вести пропадают.

— Нынче, — продолжал слепой, — нынче, говорят, мало стали посылать в киянь-море безвестных кораблей; оттого, говорят, мало, что корабли жаль губить: корабли-то, вишь, ныне стали дороги. Взамен того ньнче стали давать волчьи билеты.

— Вы, чай, и об этих билетах ничего не знаете? — сказал слепой. — Это значит вот что, — продолжал он, когда казачата отозвались, что в первый раз слышат о такой мудреной вещи. — Коль-скоро, слышите, проштрафится кто и обличен будет, ему и дадут в руки чистую отставку, то есть билет с печатью, а в нем красными, будто огненными словами и напишут: Больше де трех ден сего человека ни в каком жительстве не держать, и в обчество отнюдь не принимать: с виновных-де штраф большой. Вот он, этот проштрафленный с ербовым билетом за пазухой, и ходит и бродит весь свой

век, пока не умрет, из села в село, из города в город, аки волк презренный. От этого и билет прозывается волчьим.

«Ровно два годика, сказывал мне матросик, плавали они по киянь-морю, — продолжал слепой. — Провизия почитай вся вышла, даром; что потребляли ее по полпорциям. Попадались им по морю кой-какие острова, и к ним они приставали. На иных находили еще какую ни на есть пищу, примерно: травы, коренья, иль-бо птиц, зверей; веем этим по малой толике запасались и пробавлялись. Иные острова были совсем пусты, хоть шаром покати, — одни гальки да ракуша (раковины). А на иных островах встречали дивиих людей: на лбу, примерно, один глаз, а посредь живота рот. На такие острова и не выходили, а мимо обходили: только с корабля видали, как дивии люди грозили им да зубами щелкали.

А уж на самом киянь-мюре каких чудес не видали, господи, ты мой боже! просто ужасти! Как зачнет, бывало, матросик рассказывать, так вчуже мороз по коже подирает, индо волос дыбом стоит, просто такие страсти, что сказать не в мочь. В иную пору плывет корабль по зеленой воде, а вода-то светла, что твоя слезочка, все дно видно; а на дне гомозятся и ползают разные такие гады, что смотреть мерзко, иные на манер раков с верблюда величиной, с пребольшущими клещами, — как взглянешь, так сердце замрет. Это, сказывал матрос, море называется: Чудовищное море.

В иную пору корабль плывет по воде красной, что твоя кровь, только будто сейчас из быка выпущена, индо пар от нее валит, словно в бойне. Это — Красное море.

В иную пору корабль плывет по воде желтой, что твой сабур, или серпий. Это — Желтое море.

В иную пору корабль наплывет на такое место, что воды не знать, а заместо воды только букашки да вошки гомозятся, словно черви в падали. Корабль еле-еле движется по такой каше, и того и гляди, как совсем остановится и застрянет. Это — Вшивое море.

В ину пору корабль плывет хоша и по обыкновенной воде, но зато по сторонам-то его бесперечь выныривают чудовища: от головы до пояса — человек, а от пояса до ног — соминый плеск. Вынырнет это чудовище, встряхнет зелеными длинными волосами, индо брызги на версту летят, да и закричит глухим хриплым голосом: «фараон». Это фараоновы воины, что за Мысеим гнались да потонули. В ину пору эти самые чудовища, — их тоже

зовут фараонами, — ухватятся за корабль ручищами, словно граблями, да и спрашивают: «Когда осподь с судом сойдет?» — «Завтра, иль-бо послезавтра», скажут им с корабля, чтоб только отвязаться. Ну, и отстанут, а без того ни за что не отстанут, такие привязчивые, право. Им, вишь, узаконено жить в море до преставления света. Тогда, вишь, их и рассудят с царем-фараоном: из-за него, ведь, погибли и сделались получеловеками. Это море так и прозывается Фараонское море.

Однова, сказывал мне матросик, подплыли они к острову и остановились за версту от него. Ближе нельзя было подойти: кругом острова, вишь, камни из воды торчали. А остров был большой и весь зарос лесом. Обрадовались они этому острову: чаяли найти на нем и воды пресной, и дичи всякой, а дотолева долго не видали такого острова. Поспускали с корабля несколько шлюпок, то-ись маленьких лодочек; и целая рота солдат с ружьями съехала на берег. По долобке (по трапе), сквозь густой лес, пошли солдатики в середку острова и вскорости вышли на поляну. Глядят и видят: в одной стороне стоит широкий двор, обнесен высоким тыном, точь-в-точь острог веселый. С другой стороны видят: из леса вышло стадо овец, а овцы такие прекрупнейшие, с коров наших. Позадь овец идет человек, как есть человек, истовый человек, но такой превеличайший, что твоя колокольня. В руках у него целое березовое дерево, в обхват толщиной, и не срублено, а просто-напросто с корнем из земли вырвано, а он, этот уродина, помахивает им, деревом-то, словно наш брат тоненькой хворостинкой. Поровнялся он с солдатами, глянул на них, да и заворотил деревом-то всю роту к овечьему стаду, а потом погнал вместе с овцами, будто дело сделал. Солдаты и офицер, что был с солдатами, перепугались насмерть, не знают, что начать, и поневоле идут, только поглядывают друг на друга да молитвы шепчут. Загнал великан овец и солдат на двор, поставил чинным манером овец в угол, а солдат в другой. На дворе у одной стены врыты в землю четыре огромнейших, может ведер по сту, котла, а около котлов навалены «урсы»[1] обглоданных костей: значит, тут обжорство творится. У другой стены стоят ведра, по сороковой бочке кажинно ведро, да разная посуда, и все это во сто раз больше обыкновенной нашей посуды.

Натаскал великан воды откуда-то, из моря ли, из реки ли какой, — солдатам из-за ограды не видать было; натаскал он этой воды, налил в котлы и развел огонь, а ворота-то на запор. Смотрят солдаты, что-то будет. Стала в котлах вода закипать. Тогда великан подошел к солдатам и взял пятерых иль шестерых под мышку, столько же под другую, отнес к одному котлу, да швырнул их в него: только, бедненькие, и свету видели...

После того великан опять подошел к солдатам. Но солдатики, видя беду неминучую, решились обороняться: не даром, видно, есть поговорка: «страх силы придает». Видя беду неминучую, солдатики и решились попробовать: всем разом выстрелить в великана. «Что будет, — думают солдатики, — убьем — не убьем, а попробуем: не даром же на варево итти». Как только великан подошел к ним, они и грянули из всех ружей, да прямо ему в рожу: глаз-то ему и выбили. Вот он и зареви благим матом, да и давай кидаться со слепу-то из стороны в сторону. А солдаты тем временем и улепетнули. Ворота хоша были и заперты, но подворотни не было. Великану, конечно, невдомек, что подворотни нет: ведь у него под полотнище ворот и лапа не подлезала, а для обыкновенного человека оставалось тут просторного места почесть по коленки. Вот в эту-то щель солдатики и повылезали. А великан, знай, орет себе во все горло, а из лесу ему откликаются другие, его братья, те еще страшней ревут, индо лес трясется, земля дрожит. Тут-то уж такой страх нашел на солдатиков, что и ружья, и муницу — всю побросали, да давай бог ноги. Бегут, голубчики, чуть не задыхаются, бегут, молодчики, земли не касаются, только пятки взмывают. Лишь только солдатики побросались в шлюпки и отсунулись от берега, еще до корабля-то не доплыли, как на то место, где стояли ихни шлюпки, прибежали великаны, человек до ста иль больше. Подняли они такой ужасный вой, индо лес закачался, море взволновалось. Принялись они из корня рвать сырыматеры дубы и кидать ими по лодкам и по кораблику, одну лодку раскололи и затопили, да чуть-чуть и кораблик не повредили. Насилу пушками с корабля от них отбились и отплыли в море.

— Вот какие бывают на вольном свете страсти и ужасти, — прибавил слепой. Немного погодя, он продолжал:

— Таким-то манером, сказывав матросик, проплавали они два года, а на третий год корабль их разбило бурей. Он, этот матросик, да еще один музурик, его товарищ, ухватились за корабельную машту (мачту), и дня три носило их на ней по морю. На четвертый день море затихло, и машту прибило к берегу. В ту пору корабль-то из киянь-моря вышел в обыкновенное море; решились они, значит, пристать в ином каком царстве и отдаться неверному царю, чтобы не умереть с голода, — нужда до всего доводит… Отдохнули они, то есть матросик и его товарищ, на берегу, да и пошли в горы, — по берегу тянулись превысокие горы.

Много ли, мало ли ходили они по горам, да и наткнулись на избушку, или землянку, — все едино: не то изба, не то нора вырыта была в горе, одна

дверь да маленькое окошечко с пузырем — вот и все. Вошли они в избушку и видят: в переднем углу на лавке лежит человек, не молодой, да и не старый, а так себе — «сердович»; на нем красная ликсандревская рубаха, козловые сапоги с кисточкой на голенищах, — значит, щеголь какой-нибудь. Глаза у этого человека закрыты, а сам он такой худой, такой бледный, что твой мертвец. Сначала они подумали, что он мертвый, а как немного всмотрелись, увидали, что спит. Не трогая его, солдатики тое ж секунду бросились к печке и на шестке в горшке нашли не то кашу, не то кисель, бог знает что, не могли разобрать, да и некогда было разбирать, — ведь голод не свой брат, а у них с голоду кожа трещала: шутка ли три-четыре дня были не емши. Покамест возились они около горшка, хозяин-то проснулся, сел на лавку, до и говорит им тихохонько порасейски: «Вы, братцы, мотрите… не много ешьте этой пищи, не хороша она для непривычного человека…»

Услыхамши расейский язык, солдатики обрадовались пуще не знай чего; бросили еду, подбежали к неизвестному человеку да в один голос и сказали: «Неужто мы в Расейской земле?» Покачал этот человек головой, да и сказал: «Нет, родимые, эта земля турского салтана». — «Да ты-то кто?» — спросили солдатики. «Я, говорит он, — Степан Разин. Слыхали, чай, о богомерзких делах моих?» Тех так и ошеломило. «Вам диво это?» — говорит он. Те ничего не говорят, только бледнеют да пучат глаза на человека, что Разиным назвался. — Вы не бойтесь, — говорит он. — Хоша я и настоящий Разин, но уж не тот, что в мое время разбойничал на православной Руси и творил всякое беззаконие в угоду врагу рода человеческого, сатане триклятому: теперь я совсем иной человек. Присядьте-ка и выслушайте меня, родимые, и после поведайте миру, как тяжело и горько окаянному грешнику ответ давать за дела безбожные.

И говорит это Разин тихо, плавно, смиренно, внятно, словно какой начетчик по книге иль-бо из книги. Солдатики «отудобили», присели на скамеечке супротив Разина. И он стал им говорить: «От начала мира и до сего дня не было ни в человеках — человека, ни в зверях — зверя, ни в змиях — змия, ни в гадах — гада, подобною мне, не было ни единой на свете твари, коя бы равнялась со мной по злобе и лютости: я всех превышал… Многое множество пролил я крови христианской, многое множество загубил душ неповинных. Мало того: я царю благоверному изменил, над верой православной надругался, от бога истинного отрекся, сатане триклятому предался — и вот за то мучусь и страдаю теперь. Вы, чай, знаете, что меня заживо предали анафеме, и потом, как поймали, казнили, тело мое на огне сожгли, а прах развеяли по ветру. Но этим дело не завершилось. Аки

богоотступника, душегубца, изменника, еретика, душу свою и тело отдавши сатане, меня ни в рай не впустили, ни в ад не приняли, от меня и земля, и вода, и огонь, и воздух со ветрами буйными отказались. Тогда сила невидимая прах мой собрала и оживила, и вот в сии места уединенные поселила. Здесь я буду жить до второго пришествия, до суда страшного, тогда судьба моя окончательно решится, тогда и муку мне положат настоящую, по делом моим, какую заслужил. Теперь же пока тиранят меня два змия ужасные. По божьему веленью, в месяц раз они приползают ко мне и сосут кровь из меня, почти всю до капли высасывают. Один запустит жало под мышку, а другой под другую, и таким родом точут кровь мою. Третьего дня они у меня были, — вот и раны, посмотрите, не зажили еще; а через двадцать семь-восемь дней, как я поправлюсь, кровью-то соберусь, они опять приползут. И вот таким-то родом мучусь я целых полтораста лет, не умираю и не умру, до христова пришествия не умру: земля меня, душегубца и еретика, не принимает… вот что… А всего горше для меня бывает в те дни, когда в церквах анафему мне провозглашают. Вот что…»

«Питаюсь я глиной: есть неподалеку отсюда, в одной горе, такая глина, что похожа на муку, — говорит Разин. — Варю ее, эту глину в воде, и из того выходит какой-то кисель, — что сейчас и вы ели. Сначала пища эта мне не нравилась, как грузило ложилась в животе, а потом мало-помалу стал привыкать к ней, и вот уже полтораста лет питаюсь — и ничего».

«Я видаю иногда, что по близости меня люди ходят, но ни меня, ни избушки моей не замечают: невидимая сила, значит, закрывает. Вот вы первые увидали и зашли ко мне: значит, невидимая сила над вами сжалилась, чтобы вы не умерли с голоду. По утренним и вечерним зарям слышу я отсюда на солнечном восходе колокольный звон: значит, там город христианский или село есть: в земле турского салтана и христиане живут. Ступайте в ту сторону».

— И точно, — заключил слепой, — солдатики в тот же день к вечеру пришли в селение, где жили греки, что турскому салтану подвластны.

От них уже через сколько-то времени и вышли они на Русь святую.

— Вот, детушки, какие чудеса бывают на вольном свете, — прибавил слепой. — Вдругорядь я порасскажу вам еще кой о чем, чего вы не знаете, а теперь, не обессудьте, устал, отдохнуть пойду.